

Роберт Стивенсон

Клад под развалинами Франшарского монастыря



Роберт Льюис Стивенсон
**Клад под развалинами
Франшарского монастыря**

«Public Domain»

1883

Стивенсон Р.

Клад под развалинами Франшарского монастыря /
Р. Стивенсон — «Public Domain», 1883

«Послали за доктором в Буррон, когда еще не было шести; около восьми крестьяне стали сходиться, чтобы посмотреть на предполагавшееся представление; им сообщили о случившемся, и они стали расходиться по домам, весьма недовольные тем, что какой-то паяц позволил себе вольность заболеть как настоящие порядочные люди. В десять часов госпожа Тентальон серьезно встревожилась и, не дождавшись доктора из Буррона, пошла за доктором Дебрэ, жившим здесь поблизости...»

Содержание

Глава I. Подле умирающего паяца	6
Глава II. Утренняя беседа	9
Глава III. Усыновление	14
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Роберт Стивенсон
Клад под развалинами
Франшарского монастыря

* * *

Глава I. Подле умирающего паяца

Послали за доктором в Буррон, когда еще не было шести; около восьми крестьяне стали сходитья, чтобы посмотреть на предполагавшееся представление; им сообщили о случившемся, и они стали расходиться по домам, весьма недовольные тем, что какой-то паяц позволил себе вольность заболеть как настоящие порядочные люди. В десять часов госпожа Тентальон серьезно встревожилась и, не дождавись доктора из Буррона, пошла за доктором Депрэ, жившим здесь поблизости.

Доктор сидел за работой над своими рукописями в одном конце небольшой столовой, а его жена мирно спала в кресле перед камином в другом конце, в то время когда явился посланный.

– О, черт возьми! – воскликнул доктор. – Следовало послать за мной раньше. В таких случаях нельзя медлить!

И он последовал за посланным в том, в чем он был, то есть в туфлях и ермолке.

Гостиница находилась всего в каких-нибудь тридцати шагах от его дома, но посланный не остановился у самой гостиницы, а, войдя в одну дверь, вышел в другую на задний двор, а затем пошел вперед, указывая доктору дорогу, вверх по узкой деревянной лесенке, подле конюшен, на чердак, служивший иногда сеновалом, где лежал больной паяц.

Если бы доктор Депрэ прожил тысячу лет, то и тогда он не забыл бы того момента, когда он вошел в это помещение. Представившаяся его глазам картина была не только живописна и необычайна, но она запечатлелась в его памяти, и момент этот стал как бы событием в его жизни. Мы обыкновенно вспоминаем свою жизнь – не знаю почему – с первой нашей неудачи в обществе, так сказать, с первого нашего ощущения чувства унижения. Не заглядывая дальше назад, что могло бы быть сочтено за излишнее любопытство, хотя в жизни каждого человека бывает немало таких потрясающих и знаменательных случаев, которые могут считаться столь же важными эпохами жизни, как и факт рождения, – мы только скажем, что доктор Депрэ, которому было уже за сорок лет и который сделал не одну ошибку в своей жизни и был даже женат, отворив дверь этой каморки на чердаке над конюшнями госпожи Тентальон, вступил в новый период своей жизни. Каморка эта была довольно большая, но почти совершенно пустая, освещенная всего только одной свечкой, стоящей на полу. Больной паяц лежал на спине на жалкой узкой койке. Это был крупного роста мужчина, с длинным, тонким, покрасневшим от пьянства носом, придававшим его физиономии что-то напоминавшее Дон-Кихота. Госпожа Тентальон наклонилась над ним и прикладывала ему к ногам горячие бутылки и горчичники, а на стуле подле постели больного сидел мальчуган лет одиннадцати или двенадцати, тихонько болтая ногами в воздухе. В комнате, кроме этих трех лиц, никого больше не было, если не считать теней. Но тени представляли собой свою собственную тесную компанию: благодаря размерам помещения, тени удлинялись и увеличивались до невероятных, гигантских размеров, а благодаря тому, что свеча стояла на полу и свет падал вверх, получались уродливые ракурсы. Резкий профиль паяца вырисовывался на стене в увеличенном карикатурном виде, и забавно было видеть, как его нос на тени то укорачивался, то удлинялся, в зависимости от того, как колебалось от ветра пламя свечи. Что же касается госпожи Тентальон, то ее тень представляла собой просто громадное бесформенное пятно с закруглением плеч, над которыми время от времени появлялось полушарие громадной головы. Ножки стула, на котором сидел мальчуган, вытянулись, точно высокие ходули, а мальчик на них представлялся просто в виде туманного облачка в самом дальнем углу под крышей.

Этот мальчик сразу привлек внимание доктора и с первой же минуты овладел его воображением. У него был крупный, хорошо развитой череп, а лоб и руки как у музыкантов, и при этом такие глаза, которые преследуют вас долго после того, как вы их видели, глаза, кото-

рые долго не забываются. И не потому, что они были особенно красивы, не потому, что они были большие, смотрящие в упор, прекраснейшего золотисто-карего цвета, нет, но у них был такой взгляд, который точно пронизывал вас, и доктор испытывал от него какую-то неловкость, чувствовал себя как-то не по себе. Он был уверен, что уже раз когда-то видел именно такой взгляд, но никак не мог вспомнить, где и когда. Как будто у этого мальчика, который был ему совершенно чужой, которого он видел в первый раз в жизни, были глаза его давнишнего друга или старого недруга. И этот мальчик не давал ему покоя; он казался глубоко равнодушным ко всему, что происходило здесь вокруг него, или же поглощен какими-то более серьезными размышлениями. Спокойно сложив руки на коленях, он слегка постукивал медленно болтающимися ногами о перекладину стула, на котором сидел; но при этом глаза его неотступно следили за доктором, следуя за ним по комнате, провожая каждое его движение вдумчивым, настойчивым взглядом. Дебрэ не мог решить, он ли гипнотизировал мальчугана или же мальчуган гипнотизировал его. Он склонялся над больным, щупал его пульс, расспрашивал о симптомах, о ходе болезни, шутил, слегка горячился, даже выругался раза два, но что бы он ни делал, когда бы он ни обернулся, он всякий раз встречал вопрошающий взгляд печальных карих глаз мальчугана.

Наконец доктор как-то разом напал на решение мучившего его вопроса: он вдруг вспомнил, почему ему были так странно знакомы глаза этого мальчика. Хотя он был прям как струна и во всей его фигуре не было ни малейшего признака какой-либо уродливости, но глаза у него были такие, какие обыкновенно бывают у горбатых. Это был вполне нормально сложенный мальчик, но когда он смотрел на вас, вам казалось, что на вас смотрит горбун. Доктор облегченно вздохнул, он испытывал удовлетворение при мысли, что нашел подтверждение своей теории (а к теориям он имел положительное пристрастие) и теперь мог себе объяснить причину, почему этот мальчик так заинтересовал его.

Однако, несмотря на это, он с необычайной поспешностью постарался поскорее отделаться от больного, и, все еще стоя одним коленом на полу у постели паяца, обернулся вполоборота и не стесняясь стал смотреть на мальчика.

Это нимало не сконфузило мальчугана, который в свою очередь совершенно спокойно смотрел на доктора.

– Это твой отец? – спросил он наконец.

– Ах, нет! – отозвался мальчик. – Это мой хозяин.

– Любишь ты его? – продолжал Дебрэ.

– Нет, сударь, – ответил ребенок.

Госпожа Тентальон и доктор переглянулись при этом, и затем последний продолжал, обращаясь опять же к мальчику:

– И тебе его не жаль?

– Нет, – последовал ответ.

– Это дурно, мой милый, – сказал доктор несколько сурово и наставительно, – дурно, потому что всякий человек должен жалеть умирающего или же скрывать свои чувства, а твой хозяин умирает теперь. Если я иной раз всего несколько минут наблюдаю, как какая-нибудь маленькая птичка расклевывает вишни в моем саду, я уже жалею ее, когда она вспорхнет и улетит за ограду моего сада, и полетит в лес и скроется там, – жалею, потому что больше не увижу ее. А здесь от нас уходит человек, существо сильное, осмысленное, пронизательное, так богато одаренное всякими чувствами и способностями! Когда я только подумаю, что через несколько часов его уста умолкнут навсегда, что дыхание его прекратится и замрет, и что даже тень его с этой стены безвозвратно исчезнет, я, никогда не видевший его до этого часа, и вот эта женщина, знавшая его только как своего постояльца, мы оба печалимся и жалеем его...

Мальчик некоторое время молчал и как будто размышлял про себя.

– Вы его не знали, – сказал он наконец, – он был нехороший человек.

– Экий маленький нехристь! – промолвила хозяйка. – Впрочем, все они такие, – добавила она, – все эти паяцы, акробаты, канатные плясуны и всякие такие артисты – нет у них нутра!.. Бесчувственные какие-то!

А доктор, сдвинув брови, продолжал внимательно вглядываться в этого маленького нехристя.

– А как тебя зовут? – спросил он.

– Жан-Мари, – сказал мальчуган.

Депрэ подскочил к нему со свойственной ему порывистой живостью и возбужденностью и принялся ощупывать его череп со всех сторон, как это сделал бы френолог или этнолог.

– Кельт! Кельт! Несомненный кельт! – пробормотал он.

– Кельт! – повторила за ним и госпожа Тентальон, вероятно, принявшая это слово за синоним гидроцефалии, и полагая, что речь идет о головной водянке, добавила: – Бедный ребенок! А что, это опасно?

– Это зависит от обстоятельств, как когда! – почти угрюмо ответил доктор и затем снова обратился к мальчику: – А как ты жил до сих пор? Что ты делал ради своего пропитания, Жан-Мари?

– Я кувыркался, – ответил он.

– Так! Кувыркался? – повторил за ним Депрэ. – Вероятно, это здорово. Я предполагаю, госпожа Тентальон, что кувыркаться – это весьма полезный для здоровья образ жизни. И что же, ты никогда ничего другого в своей жизни не делал, как все только кувыркался?

– Прежде чем я научился этому, я воровал, – сказал Жан-Мари совершенно серьезно, даже с некоторой важностью.

– Даю слово, что ты для своих лет удивительный человек! – сказал Депрэ и затем обратился к хозяйке гостиницы: – Сударыня, когда приедет мой коллега из Буррона, потрудитесь передать ему мое мнение относительно больного. Я считаю его положение безнадежным, но, во всяком случае, предоставляю все на полное усмотрение коллеги. Конечно, в случае, если появятся какие-нибудь угрожающие симптомы до прибытия врача, ради Бога, не стесняйтесь разбудить меня, я сейчас же явлюсь. Хотя я, слава Богу, теперь уже не доктор, то есть не практикующий врач, но я был им когда-то... Покойной ночи, госпожа Тентальон, покойной ночи! Спи спокойно, Жан-Мари!

Глава II. Утренняя беседа

Доктор Депрэ всегда вставал рано. Раньше, чем покажется первый дымок из трубы в целой деревне, раньше, чем прогремит на мосту первая телега, возвещающая начало рабочего дня на полях, уже можно было видеть, как он бродил по саду около своего дома. То сорвет гроздь винограда, то, остановившись под деревом, с аппетитом уплетает огромную сочную грушу, только что сорванную со шпалер, а не то сидит себе на скамеечке и рисует на песке дорожки самые причудливые фантастические линии и разводы концом своей тросточки. А то пойдет вниз к реке и станет смотреть, как она безостановочно бежит мимо того места, где складывают в штабеля доски с лесопильного завода. Здесь он обыкновенно привязывал свою лодку.

– Нет лучшего времени, – говаривал он, – как раннее утро для создания теорий и всякого иного размышления. Я, – хвастался он, – встаю раньше всех во всей деревне и вследствие этого знаю больше других, но меньше других злоупотребляю тем, что знаю.

Благодаря этой своей привычке вставать рано доктор стал настоящим знатоком восходов и любил, чтобы его день начинался красивым театральным эффектом. Он создал свою теорию рос, по которой он мог предсказывать погоду. В сущности, почти все служило ему для этой цели: и звук колокольного звона со всех церквей соседних деревень, и благоухание леса, и прилет и отлет птиц, и само поведение этих пернатых и даже рыб, и вид растений у него в саду, и состояние облаков у него над головой, и цвет восхода и заката, и, наконец, тому же служил и целый арсенал метеорологических инструментов, хранившихся в ларе под навесом, на лужайке в саду. С тех самых пор как он поселился и обосновался в Гретце, он превращался все более и более в местного метеоролога и бескорыстного безвозмездного пропагандиста местного климата, который он восхвалял и превозносил при всяком удобном случае. Вначале он считал, что нет места более здорового во всей этой округе, но к концу второго года его пребывания здесь он уже стал утверждать, что не было более здорового места во всем департаменте, то есть во всей провинции, а за некоторое время до того, как он столкнулся с маленьким Жаном-Мари, он готов был бросить вызов не только всей Франции, но и большей части Европы в том, что нигде не найдется местечка лучше по своим климатическим условиям, чем возлюбленная его деревенька Гретц.

– «Доктор», – говаривал он, – скверное слово! Его не следовало бы произносить при дамах, оно вызывает представление о болезнях. Но я замечал, и это настоящий бич нашей цивилизации, что мы недостаточно ненавидим болезни, не питаем к ним надлежащего отвращения. Что касается меня, то я омыл свои руки и отказался от почетного звания и обязанностей врача; я уже, слава Богу, не доктор больше, я просто ревностный поклонник и почитатель единой истинной богини Гигиен. И верьте мне, это она владеет венериным поясом! И здесь, в этой маленькой деревушке, она воздвигла свой храм; здесь она пребывает неизменно и щедрой рукой расточает людям свои дары. Здесь я каждое утро, рано на заре, гуляю в ее обществе, и она указывает мне на крестьян, которых она сделала такими сильными и здоровыми, на поля, которые она сделала такими плодородными, на деревья, которым она дала такую пышность и красоту, на рыбок, таких веселых, проворных и опрятных, резвящихся в реке. Ревматизм! – восклицал он, когда какой-нибудь невежа позволял себе прервать его хвалебный гимн каким-нибудь неуместным замечанием относительно кое-каких погрешностей в его словах. – О да, не спорю, у нас встречаются люди, жалующиеся на ревматизм, но ведь это же совершенно неизбежно, как вы сами понимаете, когда живешь над самой рекой. Ну, а кроме того, место здесь несколько низкое, луга болотистые, в этом нет никакого сомнения, но вы взгляните, сударь мой, на Буррон! Буррон лежит высоко, Буррон кругом в лесах и, следовательно, получает со всех сторон приток озона, скажете вы, да!? Ну, а сравните его с Гретцем! Буррон против нашего места, что мясные ряды против благоуханного сада, вот что я вам доложу! Да-с, сударь мой!

Наутро после того дня, когда его призывали к постели умирающего паяца, доктор Дебрэ пошел к своей пристаньке в конце сада и долго смотрел на быстротечную воду реки. Это он называл своей утренней молитвой. Но возносились ли его мысли в это время к возлюбленной им богине Гигиен, или к другому, более ортодоксальному божеству, оставалось невыясненным. Сам он выражался довольно загадочно на этот счет; иногда он, например, говорил, что река является прообразом телесного здоровья, а в другой раз он горячо распространялся о том, что река – это величайший учитель и наставник, непрестанно проповедующий людям высокую мораль, непрестанно учаций их мирному усердному труду, душевному спокойствию и безропотной настойчивости, умиротворяющий мечущийся ум и дух человеческий. Пройдя около мили вдоль реки и любуясь светлой, прозрачной водой, весело бегущей вперед и вперед у него перед глазами, полюбовавшись двумя-тремя рыбами, сверкнувшими на мгновение своей серебристой чешуей над поверхностью воды, и вдосталь наглядевшись на длинные, точно кружевные тени от деревьев, растущих на противоположном берегу, протянувшиеся далеко вперед, чуть не до самой середины реки, и засмотревшись на яркие солнечные блики в просветах этих теней, блики, двигавшиеся и дрожавшие на воде, доктор пошел наконец обратно через весь сад к дому, а пройдя через дом, вышел на улицу. Он чувствовал себя освеженным, бодрым и обновленным, как бы помолодевшим.

Звук его шагов по мощеной улице деревни обыкновенно начинал собою рабочий день в Гретце. Сейчас все население еще спало, кругом было как-то особенно тихо. Освещенная первыми лучами солнца церковная колокольня казалась особенно стройной и воздушной; несколько птиц, кружившихся вокруг нее, казались плавающими в голубом эфире, более чистом и прозрачном, чем обыкновенно. Медленно шествуя по улице, доктор с особым наслаждением вдыхал в себя чистый воздух и чувствовал себя благодушно настроенным и довольным этим прекрасным, радостным утром, которое как будто улыбалось ему.

На одной из тумб, стоящих по обе стороны ворот гостиницы госпожи Тентальон, доктор заметил маленькую, темную фигуру, сидевшую неподвижно в созерцательной позе, и сразу узнал в ней своего вчерашнего знакомца, Жана-Мари.

– А-а! – сказал он, подходя к мальчугану, и, остановившись против него, оперся обеими руками на свои колени и с добродушным любопытством посмотрел ему в лицо. – Видите ли, как мы рано встаем! Прекрасно! Как видно, мы страдаем всеми недостатками настоящего философа.

Мальчик соскочил с тумбы и серьезно и вежливо раскланялся.

– Ну, как наш больной сегодня? – спросил Дебрэ.

Оказалось, что больной находился все в том же положении, как и вчера.

– Так, – сказал доктор, – а теперь скажи мне, зачем ты так рано встаешь?

После довольно продолжительного молчания Жан-Мари ответил, что он сам этого хорошенько не знает и потому не может сказать, зачем он рано встает.

– Так-так, – подтвердил доктор, – ты и сам не знаешь зачем, да и все мы едва ли что-нибудь знаем толком, прежде чем не постараемся это узнать, а чтобы узнать, почему и зачем мы что-нибудь делаем, надо спросить себя об этом. Ну-ка, попробуй себя спросить, подумай и скажи мне, как тебе кажется... Может быть, тебе нравится рано вставать?

– Да, нравится! – не спеша сказал мальчик. – Да, мне нравится, – повторил он еще раз, уже совершенно уверенно.

– Ну, ну, – ободрял его доктор, – а теперь скажи мне, почему тебе это нравится? Заметь, что мы с тобой теперь следуем методу Сократа, – вставил он, – итак, спроси себя, почему тебе нравится вставать рано?

– Крутом так тихо, так спокойно, – ответил Жан-Мари, – у меня в это время нет никакого дела, а затем, когда так тихо и никого нет кругом, чувствуется, как будто ты хороший.

Депрэ усмехнулся и сел на другую тумбу, по ту сторону ворот. Его начинал интересовать этот разговор с мальчуганом; Жан-Мари отвечал и говорил не наобум, а подумав, и старался на каждый вопрос ответить правдиво и по совести.

– Ты, как я вижу, испытываешь удовольствие чувствовать себя хорошим, – заметил доктор, – и признаюсь, это меня крайне удивляет; ведь ты же сам говорил мне вчера, что раньше ты воровал, а эти две вещи не вяжутся вместе – быть хорошим и воровать.

– А разве воровать так уж очень дурно? – спросил Жан-Мари.

– Да, таково по крайней мере общее мнение, мой милый друг, – ответил наставительно и слегка насмешливо доктор.

– Нет, вы меня не совсем поняли, – заметил мальчик, – я хотел вас спросить, так ли уж дурно воровать так, как я воровал, – пояснил он. – У меня не было выбора, я был вынужден воровать. Я полагаю, что не может быть дурно, что человек хочет иметь кусок хлеба, – ведь каждому надо есть! Это такая сильная потребность, что с ней спорить нельзя! Да еще, кроме того, меня прежде всего били, когда я возвращался домой ни с чем! – добавил он. – Я уже знал тогда, что хорошо и что дурно, потому что раньше того меня многому научил один добрый священник, который относился ко мне очень хорошо и которого все люди уважали. – При слове «священник» доктор скорчил отвратительную гримасу. – Но я думал, что когда человеку есть нечего, когда у него нет куска черствого хлеба, чтобы утолить свой голод, да когда еще вдобавок его бьют нещадно, то при таких условиях воровать, пожалуй, даже позволительно. Я не стал бы красть сласти или что другое ради лакомства, по крайней мере я думаю, что не стал бы, но мне кажется, что ради куска насущного хлеба каждый стал бы воровать!

– И я так полагаю, – согласился доктор. – Ну, а после каждой кражи ты, конечно, становился на колени и просил у Господа Бога прощения и объяснял ему весьма подробно все свои обстоятельства? – слегка насмешливо добавил он, усмехаясь.

– Нет, к чему? – удивился Жан-Мари. – Я не видел в этом никакой надобности.

– Вот как! Ну, а твой священник наверное бы увидел эту надобность! – все в том же тоне продолжал доктор.

– Вы так думаете? Неужели? – воскликнул мальчик и впервые смутился. – А я думал, что Господу Богу и без того все известно... что он и так все знает...

– Эге, – подтрунил доктор, – так вот ты какой вольнодумец!

– Я думал, что Бог сам меня поймет, – продолжал мальчик очень серьезно, не обратив внимания на последнее замечание своего собеседника, – а вы, как я вижу, этого не думаете, но ведь и сами эти мысли мои мне Бог вложил в голову! Разве нет?

– Ах ты, мальчуган, мальчуган! – почти сокрушенно промолвил Депрэ. – Я уже сказал тебе, что в тебе гнездятся все пороки философии, но если ты еще совмещаешь в себе и все ее добродетели, то мне, старому грешнику, остается только поскорее бежать от тебя без оглядки. Я, видишь ли ты, служитель и сторонник благословенных законов здоровой нормальной природы в ее простых и обычных проявлениях, и потому не могу равнодушно и спокойно смотреть на такое чудовище, на такого нравственного уродца! Понял ты меня?

– Нет, сударь, – ответил не задумываясь Жан-Мари.

– Ну, погоди, я постараюсь разъяснить тебе то, что я хотел сказать этими словами. Вот посмотри сперва сюда, – продолжал доктор, – видишь ты там это небо за колокольней, видишь, какое оно там светлое, бледно-бледно голубое? А теперь посмотри выше и еще выше, до самой верхушки небесного свода у тебя над головой, где небо густо-голубое, почти синее, как в полдень... Так! А теперь скажи мне, разве это не прекрасный цвет? Разве он не ласкает глаза? Не радуется сердца? Мы видим это голубое небо изо дня в день в течение всей нашей жизни, мы до того свыклись, сроднились с ним, что даже наша мысль видит его таким. Но предположим, – продолжал Депрэ, переходя от любовного умиления, с каким он говорил о голубом небе, к совершенно иному тону, – предположим, что это небо вдруг бы сделалось яркого янтарно-

огненного цвета, подобно цвету горячих углей, а в самом зените небесного свода огненно-красным. Я не скажу, что это было бы менее красиво, нет! Но нравилось бы оно тебе так же, как это наше голубое небо?

– Я думаю, что нет, – сказал Жан-Мари.

– И я также не мог бы его любить, – продолжал доктор несколько грубо, – я ненавижу все странное, и странных людей в особенности; а ты самый странный, самый своеобразный мальчуган, какого я когда-либо встречал в своей жизни!

Жан-Мари некоторое время молчал и как будто что-то обдумывал, а затем поднял голову и взглянул на доктора с добродушно вопрошающим видом.

– А вы сами, разве вы не чрезвычайно странный господин? – спросил он.

Тогда доктор бросил на землю свою палку, кинулся к мальчугану, прижал его к своей груди и звонко расцеловал его в обе щеки.

– Превосходно! Бесподобно, малыш! – восклицал он. – Нет, какое прекрасное утро! Какой счастливый, какой удачный день для старого сорокадвухлетнего теоретика! А? Нет, – продолжал он, как бы обращаясь к небесам, – ведь я даже не знал, что такие мальчуганы существуют на свете! Я сомневался, чтобы род человеческий мог производить подобных индивидуумов! Вот теперь, – добавил он, подымая с земли свою палку, – эта встреча для меня точно первое любовное свидание. Я сломал свою любимую трость в момент энтузиазма, но это не беда! Можно будет поправить.

И взглянув на мальчика, он уловил на себе его взгляд, полный удивления, недоумения, смущения и даже смутной тревоги.

– Э! – воскликнул он, обращаясь к мальчугану. – Отчего ты так смотришь на меня? Право, кажется, этот малыш презирает меня, – пробормотал он в сторону. – Ты презираешь меня, что ли, мальчуган? – обратился он снова к нему.

– О нет, – отозвался Жан-Мари совершенно серьезно, – нет, но только я не понимаю вас.

– Вы должны извинить меня, сударь, – продолжал доктор с некоторой напыщенностью, – я еще слишком молод. «Черт бы его побрал!» – мысленно добавил он про себя, опять сел на свое прежнее место и несколько насмешливо стал наблюдать за мальчиком.

«Он мне испортил это прекрасное, спокойное утро, – думал он, – теперь я буду нервничать весь день и пищеварение будет неправильное – лихорадочное, надо непременно успокоиться». И, сделав над собою усилие, он отогнал от себя все тревожившие и волновавшие или даже сколько-нибудь смущавшие его мысли тем усилием воли, к которому он давно уже приучил себя. Теперь помыслы его стали блуждать среди окружавших его знакомых и любимых предметов: он любовался и наслаждался прекрасным утром, вдыхал в себя свежий утренний воздух и с видом знатока смаковал его, как смакуют любители хорошее вино, а затем медленно выдыхал его, как то рекомендуется предписаниями гигиены; он считал маленькие облачка на небе, следил за полетом птиц вокруг церковной колокольни, мысленно описывал вместе с ними длинные, плавные взлеты и спуски, или паря в воздухе, или же проделывая удивительные воздушные сальто-мортале и рассекая воздух воображаемыми крыльями. Таким способом доктор в короткое время вернул себе прежнее спокойствие духа, животное благодушие и полное сознание своих движений, своих чувств и ощущений, сознание, что воздух имел прохладный и освежающий вкус, напоминающий вкус сочного спелого плода, и, совершенно поглощенный этими ощущениями и их мысленным анализом, он от избытка благодушного настроения запел. Он знал всего только один мотив – «Мальбрук в поход собрался», да и тот он знал не совсем твердо и обращался с ним довольно бесцеремонно. Впрочем, свои музыкальные таланты доктор проявлял обыкновенно только в те минуты, когда он бывал один и чувствовал себя особенно благодушно настроенным, когда он чувствовал себя, так сказать, вполне счастливым.

Но на этот раз он был довольно грубо пробужден к действительности почти болезненно огорченным выражением на лице мальчика. Он оборвал свое пение и обратился к нему с вопросом:

– Что ты думаешь о моем пении, мальчуган? Нравится оно тебе?

Мальчик молчал. Не дождавшись ответа, он повторил еще раз довольно повелительно:

– Что ты думаешь о моем пении?

– Оно мне не нравится, – пробормотал Жан-Мари.

– Вот как! – воскликнул доктор. – Может быть, ты сам певец?

– Я пою лучше, – спокойно ответил мальчик.

Доктор смотрел на него некоторое время в недоумении. Внутренне он сознавал, что сердится, по этому случаю краснел за себя, и это заставляло его еще больше сердиться.

– Если ты так же разговариваешь и со своим хозяином, – сказал он наконец, пожав плечами и подняв руки кверху, – то могу тебя только похвалить.

– Я с ним вовсе не разговариваю, – отсевался Жан-Мари, – я его не люблю.

– Значит, меня ты любишь? – попробовал поймать его на слове доктор, и при этом в голосе его послышались необычайные живость и воодушевление.

– Не знаю, – ответил Жан-Мари.

Доктор встал – не такого он ждал ответа, и хотя он и себе в том не сознавался, но чувствовал себя как будто обиженным.

– Я пожелаю вам доброго утра, – сказал он, церемонно раскланиваясь со своим собеседником, – я вижу, что вы слишком мудры для меня. Возможно, что у вас в жилах течет кровь, а может быть, и небесный флюид, а быть может, в них не что иное, как воздух, которым мы дышим; но в одном я безусловно уверен, – это в том, что вы, сударь, не человеческое существо, говорю я вам, – добавил он, потрясая своей палкой перед носом мальчика. – Так и запишите в своей памяти: я не человеческое существо и не имею претензии быть человеческим существом; я обман, сон, ангел, загадка, иллюзия, все, что угодно, но только не человеческое существо! Итак, примите мой почтительнейший поклон, и прощайте!

С этими словами доктор удалился и слегка взволнованный зашагал вдоль улицы, а мальчик остался стоять в недоумении, глядя на то пустое место, где только что стоял доктор.

Глава III. Усыновление

Мадам Депрэ, носившая христианское имя Анастази, представляла собою весьма приятный и симпатичный тип особы женского пола. Необычайно цветущая и здоровая с виду, полная, красивая брюнетка с упругими мягкими щеками, румяными губами и приветливым, спокойным взглядом темных глаз, и ручками несравненной красоты, она была такого рода женщина, над которыми горе и невзгоды проносятся как утренние летние облачка по небу; в худшем случае она могла сдвинуть свои темные брови так, чтобы они образовали одну вертикальную линию, но всегда на одну минуту, а затем и эта мимолетная морщинка на ее лбу тотчас же сглаживалась.

В ней было очень много бесстрастного спокойствия монахинь, при почти полном отсутствии их благочестия; напротив, Анастази была женщина весьма преданная всякого рода благам мира. Она страстно любила устрицы и доброе старое вино, любила несколько смелые шутки и рассказы и была очень преданна своему мужу, но скорее ввиду своего собственного благополучия, чем ради него. Она была невозмутимо добродушна по природе, но не имела ни малейшей склонности к самоотвержению или самопожертвованию.

Жить в этом уютном старом доме, с большим тенистым зеленым садом позади и ярким, пестрым цветником перед окнами, есть и пить сладко и вволю, поболтать четверть часика с кем-нибудь из соседей, никогда не носить корсета и не одеваться, исключая тех случаев, когда она отправлялась в Фонтенбло за покупками, иметь постоянный богатый запас новостей и немудреных романов, быть к тому же женой доктора Депрэ и не иметь никаких оснований ревновать его, – этим исчерпывались все ее притязания на счастье, и чаша благ земных, по ее мнению, наполнялась этим до краев. Люди, знавшие доктора Депрэ еще холостым, когда у него было ровно столько же самых разнообразных теорий, но теорий другого рода, утверждали, что его теперешняя философия сложилась под влиянием изучения Анастази. Он рационализировал ее животное довольство и чувство полной удовлетворенности и бессознательно тщетно старался подражать ей по-своему. В кулинарном деле госпожа Депрэ была настоящей артисткой, а кофе готовила в совершенстве. Кроме того, она была помешана на чистоте и опрятности в доме, и этим заразила и мужа. Всякая вещь у них в доме была на своем месте, все сияло и блестело, начиная с медных ручек и задвижек, а пыль была совершенно изгнана из ее царства. Это было нечто такое, что совершенно не допускалось в доме доктора Депрэ. Алина, их единственная служанка, не знала другого дела, как весь день стирать пыль, чистить, скрести и подметать с раннего утра и до позднего вечера. И таким образом, доктор Депрэ в своем доме жил как теленок, которого откармливают к празднику в тепле, холе, чистоте и полном довольстве.

В полдень подавался прекрасный обед и в этот день как всегда обед был вкусный и обильный. Была и спелая ароматная дыня, и только что пойманная в реке рыба с достопамятным беарнским соусом, и откормленная пулярка в виде фрикасе, и превосходная спаржа, а затем целое блюдо самых отборных фруктов. Ко всему этому доктор Депрэ выпил полбутылки с добавкой еще одного стаканчика прекрасного семилетнего Cote-Rotie (французского вина), а госпожа Депрэ – полбутылки, без стаканчика, того же самого вина – один стаканчик из ее полбутылки переходил в качестве прибавки к порции ее мужа, в ознаменование признания за ним мужских привилегий. В заключение подали превосходнейший кофе и графинчик «Chartreuse» для мадам. Доктор не доверял всем этим декоктам и пренебрегал ими, считая их вредными для здоровья. Поставив поднос на стол, Алина удалилась и оставила супругов Депрэ вдвоем, предоставив им без помех наслаждаться послеобеденной беседой, приятными воспоминаниями и процессом правильного пищеварения.

– Право, душа моя, говорю тебе, что для нас с тобой большое счастье... – начал было доктор. – Да, могу сказать, что твой кофе превосходен! – перебил он себя, отхлебнув немного

из чашки. – Так вот, я говорю, – продолжал он, – что для нас с тобой большое счастье... Ах, Анастаси, умоляю тебя, не пей ты этой гадости! Не пей этой отравы, ну хоть только сегодня, ну всего только один день, и ты сама увидишь, какую это принесет тебе пользу; ты будешь чувствовать себя гораздо лучше, ручаюсь тебе за это моей репутацией!

– Но ты не сказал мне еще, в чем для нас с тобой большое счастье, – заметила Анастаси, не обратив внимания на обычную мольбу и уговоры мужа не пить ликера с кофе, – мольбу, повторяющуюся регулярно каждый день.

– В том, душа моя, что у нас с тобой нет детей, красавица моя! – ответил нежный супруг. – Я все чаще и чаще об этом думаю по мере того, как идут годы, и все больше и больше благословляю Всевышнего, избавившего нас от этой страшной обузы, от стольких забот, хлопот и огорчений. Подумать только, как твое цветущее здоровье, ненаглядная моя, могло бы пострадать от этого, а мои спокойные ученые занятия, а наши вкусные обеды и всякие гастрономические деликатесы и лакомства... все, все решительно должно было бы пострадать, будь у нас дети, от всего этого пришлось бы если не совсем, то до известной степени отказаться, пожертвовать хотя бы отчасти всеми этими радостями жизни, и, спрашивается, ради чего? Ведь дети – это последний остаток человеческого несовершенства! Перед их лицом бежит цветущее здоровье женщины; они являются причиной хвори и преждевременной старости наших жен; они кричат, шумят, раздражают наши нервы, нарушают мир и спокойствие в доме; мало того, они вечно задают вам неуместные, глупые и ненужные вопросы, надоедают вам постоянными расспросами, требуют, чтобы их кормили, поили, умывали, одевали, заботились об их воспитании, обучении, чтобы им носы вытирали! Да, моя милая, вот что значат дети! А когда они подрастут, то настанет такое время, когда они с легкостью разбивают родительское сердце, как я разбиваю скорлупу этого ореха!.. Да, дорогая моя, двое таких отъявленных эгоистов, как мы с тобой, должны были бы всегда избегать произведения на свет всяких таких отпрысков, как явной измены себе и друг другу! Не правда ли?

– Да, друг мой, в этом ты действительно прав, – согласилась жена, и при этом она приятно засмеялась. – В сущности, это так на тебя похоже – хвалиться тем, что, собственно, произошло помимо твоей воли, и что вовсе не от тебя зависело.

– Дорогая моя, – возразил доктор как бы наставительно и почти торжественно, – ты забываешь, что мы могли усыновить ребенка!

– Ну уж нет! Этого я не допустила бы никогда... ни за что на свете! Слышишь ли ты, ни за что на свете! – воскликнула жена. – Что ни говори, а с моего согласия, во всяком случае, никогда! Еще если бы ребенок был моя собственная плоть и кровь, я бы, конечно, не отказалась от него, но взвалить себе на плечи последствия нескромности другой особы – нет, благодарю покорно! У меня для этого еще слишком много здравого смысла!

– Вот именно! – подтвердил доктор. – У нас обоих было слишком много здравого смысла для этого, и теперь я тем более доволен нашим благоразумием, потому что... потому что... – И он пристально взглянул на свою жену.

– Потому что... что? – спросила она со смутным предчувствием какой-то опасности.

– Потому что я нашел теперь именно того, кого следовало, – сказал доктор твердо и решительно, – и я сегодня же усыновлю его!

Анастаси смотрела на мужа и видела его словно в тумане. Она положительно ничего не могла понять.

– Ты с ума сошел! – воскликнула она, и в голосе ее слышалась такая нота, которая предвещала семейную бурю.

– Нет-нет, дорогая моя, ты ошибаешься, – возразил муж, – я в здравом уме и в полном сознании, и вот тебе доказательство: вместо того чтобы стараться как-нибудь замаскировать свою непоследовательность, я, напротив, желая тебя подготовить, умышленно подчеркнул ее. Надеюсь, что ты в этом узнаешь счастливого философа, имеющего радость и блаженство назы-

вать тебя своей женой! Видишь ли, дело в том, что я до сих пор никогда не рассчитывал на необычайную случайность, с чем, в сущности, всегда следовало бы считаться; я никогда не думал, что найду когда-нибудь настоящего своего сына; но вот прошедшей ночью я нашел его! Только прошу тебя, не тревожь себя напрасно, дорогая моя: в нем, насколько я знаю, нет ни единой капельки моей крови. Он мой сын по духу, по уму, если хочешь!

– По духу! По уму! – повторила Анастаси с легким смешком, в котором слышались отчасти возмущение и гнев, отчасти желание рассмеяться. – Скажите пожалуйста, его ум! Да что это такое, наконец, Анри, – идиотская шутка или же ты на самом деле с ума спятил? Он сын ему по уму! По духу! Ну, а мне-то он как приходится? Мне-то он кто по духу и по уму?

– Ты права, – сказал доктор и пожал плечами, – да, ты как раз указала на единственную загвоздку во всем этом деле. Да, признаюсь, что об этом я не подумал, но что же делать, дорогая моя! Я боюсь, что он будет тебе поразительно антипатичен, боюсь, что ты, Анастаси, никогда не поймешь его, а он тебя; это потому, что ты взяла себе в мужа животную часть моего существа и моей природы, дорогая моя, и эта физическая сторона моей природы всецело в твоей власти и безраздельно принадлежит тебе, а с Жаном-Мари у меня есть духовное сходство, настолько сильное, что, скажу тебе откровенно, я и сам несколько боюсь его. Ты, конечно, прекрасно понимаешь, что я возвещаю тебе о своего рода несчастье для тебя, но только, душа моя, – и голос его зазвучал искренне озабоченно, – ради Бога, не давай воли слезам после еды – это так вредно, Анастаси! Я уверен, что ты испортишь себе пищеварение.

И Анастаси воздержалась.

– Ты знаешь, как охотно и с какой готовностью я всегда подчиняюсь всем твоим желаниям, – сказала она, – когда они благоразумны или резонны, но в данном случае...

– Возлюбленная моя, – перебил ее доктор, спеша предупредить отказ с ее стороны, – припомни, кто пожелал уехать из Парижа? Кто заставил меня проститься и с моей карточной партией и вместе с тем и с моей маленькой страстишкой к картам, и с оперой, и с бульварами, и с моими связями в обществе, словом, со всем тем, что составляло мою жизнь до того времени, когда я узнал тебя? Припомни все это и скажи, был ли я тебе верен? Был ли я послушен тебе? Не нес ли не только безропотно, но даже охотно свой крест? И по всей справедливости, Анастаси, не имею ли я тоже права предъявить тебе какое-нибудь требование в свою очередь? Ты знаешь, что я имею на это право, и признаешь его за мной. Ну, так мое требование, это чтобы этот сын мой был принят в наш дом, как это и подобает.

Анастаси поняла, что она разбита наголову и что протестовать бесполезно, а потому поспешила спустить флаг, как судно, которое сдается.

– Ты меня убьешь этим! – вздохнула она.

– Нисколько! – возразил он. – С месяц ты будешь, быть может, чувствовать некоторую горечь или досаду, точно так же, как это испытывал я, когда я впервые очутился в этой жалкой деревушке, а затем твой здравый рассудок и твой милый нрав возьмут верх, и я теперь уже вижу тебя счастливой и довольной как всегда, и при этом еще с внутренним сознанием, что ты сделала своего мужа счастливейшим из людей!

– Ты знаешь, что я не могу отказать тебе ни в чем, – сказала она, делая еще одну последнюю попытку показного сопротивления, – ни в чем, что может сделать тебя действительно счастливым. Но так ли это в данном случае? Уверен ли ты в этом, друг мой? Ты говоришь, что нашел его прошедшей ночью! Да ведь он, может быть, худший из обманщиков.

– Я не думаю, – возразил доктор, – нет, едва ли я мог ошибиться в нем. Впрочем, ты не воображай, что я так неосмотрителен и неразумен, что сейчас же сразу вздумаю усыновить его. Нет, я лщу себя мыслью, что я человек, умудренный житейским опытом, и потому мне кажется, что я все предвидел и предусмотрел, что я взвесил все возможные случайности и, имея их в виду, составил план, который, я надеюсь, оправдает все мои расчеты. Я беру мальчика пока в качестве конюха, и если он станет таскать что-нибудь или роптать и высказывать

недовольство, если он захочет уйти от нас, то я пойму и увижу, что я ошибся, и не признаю его своим сыном, а прогоню его – пускай себе шатается по белу свету.

– Этого ты никогда не сделаешь, – сказала жена, – я знаю твое доброе сердце.

И она протянула ему свою руку, вздохнув при этом, а доктор улыбнулся и поднес эту милую, прекрасную ручку к своим губам и запечатлел на ней нежный поцелуй, полный благодарности. Он выиграл свое дело гораздо легче, чем он того ожидал. Уже в двадцатый раз он испытывал магическое воздействие своего неизменного аргумента – намека на возвращение в Париж. Шесть месяцев пребывания в Париже для человека со склонностями, знакомствами и связями доктора Депрэ и с его прошлым были равносильны полному разорению. Анастаси удалось спасти последние остатки его бывшего состояния только благодаря тому, что она удерживала его безвыездно в деревне. Само слово «Париж» приводило ее в ужас. Она скорее разрешила бы своему супругу завести целый зверинец в большом саду позади дома и допустила бы даже усыновление маленького конюха, только бы муж не касался вопроса о возвращении в столицу.

Часов около четырех после полудня несчастный паяц отдал Богу душу; он так и не приходил в сознание с того момента, как впервые впал в забытие. Доктор Депрэ присутствовал при его последних минутах, и он же и объявил хозяйке и присутствующим, что комедия сыграна, что песенка паяца спета до конца, словом, что все уже кончено. После этого он взял Жан-Мари за плечо и вывел его в сад при гостинице. Здесь была удобная скамейка у самой реки. Доктор сел на эту скамейку и усадил мальчугана по левую руку от себя.

– Жан-Мари, – сказал он серьезно, – мир Божий очень, очень велик, и даже Франция, представляющая собой самую крошечную его частичку, слишком велика и обширна для такого маленького мальчугана, как ты. И хотя места в мире много всем, и во Франции тоже, но, к несчастью, всюду так много людей, от которых всем тесно, людей, которые со всеми толкаются и всем загораживают дорогу, и пробиться между ними чрезвычайно трудно. Кроме того, на свете слишком мало пекарен для всех голодных ртов. Хозяин твой умер, а ты один еще не можешь сам себе зарабатывать хлеб, а ведь воровать ты не желаешь? Не правда ли? В таком случае положение твое, как ты сам, вероятно, понимаешь, незавидное, даже, можно сказать, критическое в настоящий момент. С другой стороны, ты видишь перед собой в моем лице человека еще не старого, но уже пожилого, пользующегося всеми благами душевной молодости и здравого разума, человека образованного, развитого, живущего в достатке и довольстве, имеющего приличное положение в жизни и хороший, сытный стол, человека, которым нельзя пренебрегать ни в качестве друга, ни в качестве хозяина. И вот я предлагаю тебе стол, и одежду, и обучение разным наукам и познаниям, несравненно более целесообразным для мальчугана с твоим складом ума и способностями, чем поучение всех священников целой Европы, вместе взятых. Жалованья или какого-либо вознаграждения я тебе не предлагаю; но если ты когда-нибудь пожелаешь уйти от меня, ты в любое время найдешь дверь открытой и сможешь идти на все четыре стороны, а кроме того, я еще дам тебе сто франков, чтобы ты имел возможность начать с ними новую жизнь по своему усмотрению. А взамен того, что я тебе предлагаю, ты должен будешь в свою очередь работать на меня. У меня есть старая кобыла и тележечка, на которой я выезжаю; ты очень скоро научишься ходить за кобылой и обмывать и держать в порядке экипаж – и это будет твоим делом. Ты не спеш с ответом, а обсуди хорошенько, принять тебе или не принять мое предложение; подумай, что из двух для тебя будет лучше. Но помни, что я не сентиментальный человек, не сердобольный благотворитель, а человек, живущий исключительно для себя, и что если я делаю тебе подобное предложение, то потому, что имею при этом в виду свои цели и ясно предвижу известные выгоды для себя. Ну, а теперь подумай хорошенько и тогда скажи, как ты решил поступить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.